

# ЭТНОС И КУЛЬТУРА

© ЭО, 2004 г., № 2

**П.С. К у п р и я н о в**

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАРОДАХ У РОССИЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НАЧАЛА XIX В.**

В начале XIX в. за пределами России побывало довольно большое количество россиян. Среди них были и праздные молодые люди, отправлявшиеся в Европу для ознакомления с природой и искусствами, и студенты, намеревавшиеся продолжить образование в Германии, и дипломаты, и морские офицеры, оказавшиеся за границей по долгу службы.

В то время заметно расширяется география русских путешествий. Если раньше пребывание россиянина за пределами страны чаще всего ограничивалось посещением ряда городов Европы, то теперь русские путешественники волею судьбы оказались в самых отдаленных уголках мира. В 1803–1806 гг. состоялась первая российская кругосветная экспедиция, участники которой побывали в Дании, Англии, Бразилии, на Маркизских и Гавайских островах, на Камчатке, Сахалине, на Алеутских островах, в Японии, в Китае. Это путешествие нашло отражение не только в записках капитанов кораблей И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, но и в сочинениях других участников плавания. Одним из них является дневник лейтенанта “Надежды” Е.Е. Левенштерна<sup>1</sup>.

Записки В.Б. Броневского, Н.М. Клемента, П.П. Свинына, Г.М. Мельникова, П.И. Панафицина, Н. Коростовца<sup>2</sup> посвящены другому морскому “путешествию” – пребыванию эскадры Д.Н. Сенявина в Средиземном море в 1805–1812 гг. Основная миссия эскадры заключалась в укреплении обороны базы русского флота на Ионических островах. На обратном пути россияне побывали в Португалии, Италии, некоторые команды возвращались в Россию сухопутным путем через Каринтию, Крайну, Венгрию, Польшу и Западную Украину. Так их глазам предстали те уголки Европы, которые прежде оставались в стороне от традиционных европейских маршрутов россиян и потому были мало известны. Порой такие новые пути избирались сознательно: русские студенты в Геттингене А.И. Тургенев и А.С. Кайсаров в 1804 г., заинтересовавшись славянской историей и культурой, специально отправились в поездку по землям, населенным славянскими народами, и помимо Саксонии, Австрии и Италии побывали еще в Венгрии, Воеводине, Словении, Хорватии и даже совершили “вылазку” в Белград, находившийся тогда под властью турок. Более традиционным было путешествие Ф.П. Лубяновского в 1800–1802 гг., хотя и в его сочинении содержатся описания таких малознакомых частей Австрийской империи, как Чехия, Штирия, Каринтия и Словения<sup>3</sup>.

Все это были очень разные люди, побывавшие в разных странах с самыми разными целями. Объединял же их не только сам факт заграничной поездки, но и то, что она воспринималась ими как некий “текст”, как нечто, требующее последующего описания, рассказа. Эта потребность реализовывалась в самых разных формах: кто-то вел подробный дневник, кто-то писал пространные письма родственникам и друзьям (реальным или воображаемым), кто-то составлял объемные записки и мемуары. Описания путешествий находили широкий отклик среди российских читателей, и в печати появлялось немало такого рода сочинений. Наибольший интерес читающей публики вызывали рассказы об иных странах и народах. В отличие от “ сентиментального путешествия”, в центре которого – переживания героя по поводу на-

блудаемой действительности, теперь в “путешествиях” все больше места занимают описания иноземных “нравов и обычаев”.

Последнее обстоятельство уже давно привлекает к упомянутым материалам внимание этнографов, которые используют их как этнографический источник<sup>4</sup>. Причем работа этнографов с материалами путешествий имеет некоторые особенности.

В современной этнологии процесс этнографического описания рассматривается как диалог, взаимодействие двух культур – субъекта и объекта исследования. Соответственно, появляющийся в результате этого описания текст может служить источником для изучения обеих сторон – участников диалога<sup>5</sup>. Применительно к рассматриваемым материалам это означает, что они содержат информацию как об описываемых народах, так и о самих путешественниках. Между тем в работах этнографов эти тексты традиционно рассматриваются лишь в одном качестве: как источник по этнографии тех или иных народов<sup>6</sup>. Ценность “путешествий” для этнографа заключается в первую очередь в том, что описывает путешественник, в тех фактах, которые он сообщает, в том этнографическом *материале*, который он приводит. С.А. Токарев, рассматривая эти источники в “Истории русской этнографии”, сосредоточивается на том, “что они дали этнографической науке”<sup>7</sup>, имея в виду прежде всего эмпирический материал. Что же касается интерпретации путешественниками собранных ими данных, то она оценивается обычно по единственному критерию – степени соответствия “объективной действительности”, а значит может быть лишь “верной” или “ошибочной”. Так, Б.А. Липшиц отмечает, что Ф.П. Литке “впервые правильно (здесь и далее в цитатах курсив мой. – П.К.) оценил значение вождей (юросов) у юалайцев”<sup>8</sup>, но при описании эскимосов допустил “ошибку в лингвистических наблюдениях... Правильно отметив сходство коряцкого языка с языком оленных чукчей, он неверно определил язык береговых чукчей как эскимосский”<sup>9</sup>.

Таким образом, чаще всего анализ представлений путешественников ограничивается определением их “правильности” или “ошибочности”. (В первом случае обычно говорится о “существенном вкладе” автора или о том, что он “предвосхитил современное научное решение” проблемы<sup>10</sup>, а во втором – как правило, лишь констатируется ошибочность рассматриваемой интерпретации.) “Ю.Ф. Лисянскому, – пишет Липшиц, – принадлежит заслуга установления наличия парного брака на Нукагиве”, однако, *интерпретация* этого ценного *факта* отвергается как неверная: «Описывая эти факты (распространение парного брака, пережитки полиандрии и группового брака. – П.К.), русские моряки, не учитывая своеобразия взаимоотношений между полами среди первобытных народов, определяли их как “прелюбодеяние”, “неуважение супружеского союза” и пр.»<sup>11</sup>. И.Ф. Крузенштерн, – отмечает тот же автор, – дал описание антропологического типа айнов, что, несомненно, должно оцениваться как важный *вклад*, и он же допустил *ошибку*, приняв гиляков за татар<sup>12</sup>.

Несмотря на то что записи путешественников рассматриваются этнографами как *источник*, в работах, посвященных этим материалам, источниковедческий анализ оказывается довольно поверхностным. Вопрос о достоверности сообщаемых сведений (казалось бы, закономерный и необходимый в данной ситуации) или не ставится вообще или решается упрощенно<sup>13</sup>. В результате факты источника, по сути, приравниваются к фактам действительности. Примером может служить эпизод из монографии М.М. Керимовой, посвященной формированию знаний и представлений о югославянских народах в России первой половины XIX в. Рассматривая данные по этническому самосознанию населения Далмации в материалах русских путешественников, автор обращается, в частности, к сочинениям В.Б. Броневского, побывавшего в Боке Которской в 1806–1807 гг. и оставившего подробные описания местного населения. По словам исследовательницы, путешественник “отмечал существование множества этнических групп, самоназвания которых соответствовали наименованию тех селений, в которых они проживали”<sup>14</sup>. Действительно, в записках В.Б. Броневского *рисаноты, добромцы, перастцы, пастромчане* фигурируют как локальные группы местного населения. И он действительно отмечает их различия в

религии, обычаях, одежде. Однако на основе этих фактов можно лишь констатировать “существование” упомянутых *этнических* групп в сознании путешественника, но не в “реальности”. Для В.Б. Броневского очевидно, что население Боки Которской подразделялось на упомянутые самобытные общности, однако насколько такое подразделение было актуально для самих местных жителей, остается вопросом. Действительно ли это были *этнические* группы (обладавшие собственным самосознанием и самоназванием), которые имеет в виду исследователь, являются ли *рисаноты, перастцы* и другие *самоназваниями*, или это имена, данные внешним наблюдателем, – для ответов на все эти вопросы информации, содержащейся в записках В.Б. Броневского, явно недостаточно.

Подобная экстраполяция *представлений* наблюдателя на *объект* наблюдения, по-видимому, основана на допущении, что сознание путешественника в принципе адекватно отражает реальность. В этом случае текст “путешествия” рассматривается лишь как вместилище более или менее ценных этнографических фактов, как *средство* передачи информации, которое никак не влияет на саму информацию и потому не является помехой в процессе познания ученым этнографической действительности. Ввиду того, что представления путешественника не рассматриваются как существенный фактор в производстве научного знания, процесс формирования и функционирования этих представлений не становится актуальной задачей исследования и эпистемологическая ситуация путешествия не проблематизируется.

Между тем проблема взаимодействия сознания наблюдателя и наблюдалей им реальности – одна из центральных в этнологии, поскольку имеет непосредственное отношение к ее методу и эпистемологии. Основной метод работы этнографа – наблюдение и описание – уже на протяжении нескольких десятилетий является предметом пристального внимания и критики как в западной, так и в отечественной науке<sup>15</sup>. В результате были сформулированы некоторые положения, которые в современной науке стали уже общим местом и разделяются большинством ученых, независимо от теоретических пристрастий. В частности, сегодня очевидно, что этнографическое описание – отнюдь не фотографическое отображение реальности, что ее восприятие этнографомискажается многочисленными “помехами и шумами”<sup>16</sup> или, если использовать оптическую метафору, – линзами и фильтрами, что “не может быть чистого восприятия, чистых данных, точно так же, как не может быть чистого языка наблюдения, так как все языки пропитаны теориями и мифами”<sup>17</sup>. В работах по данной проблематике выделяются и исследуются упомянутые выше “помехи и шумы”, т.е. факторы, детерминирующие восприятие и описание в процессе этнографического наблюдения<sup>18</sup>.

Почему же все эти положения никак не учитываются при использовании материалов путешествий? Почему описание путешественником тех или иных народов не рассматривается в контексте описанных выше принципов? Возможно, отчасти это объясняется традиционным противопоставлением профессионала-этнографа и любителя-путешественника. С.А. Токарев, отмечая, что на рубеже XIX–XX вв. этнографические исследования все чаще стали проводиться профессионально подготовленными учеными, говорит о возникшей в связи с этим проблеме: “полевой этнограф, сторонник определенных научных взглядов,вольно или невольно подбирал фактический материал, который подкреплял эти взгляды, может быть, упуская то, что могло им противоречить, и обходя вообще молчанием факты, не имеющие прямого отношения к предмету его интересов... В этом смысле кое-кто отдает даже предпочтение старым авторам, которые простодушно и наивно, без предвзятой идеи, записывали все то, что они видели и слышали”<sup>19</sup>. Таким образом, материалам любителя отдается предпочтение перед фактами, собранными профессионалом в силу того, что первый не является “сторонником определенных научных взглядов”. По этой причине данные путешественника считаются более адекватными реальности. Между тем отсутствие *научных* взглядов вовсе не предполагает отсутствие взглядов вообще, а также их способности влиять на подбор фактического материала.

ла. Разница между ученым и путешественником в данном случае заключается не в том, что один предвзято трактует действительность, а другой воспроизводит ее адекватно, а в том, что в одном случае искажающим моментом является научная концепция, а в другом – обыденные взгляды и представления, чаще всего неотрефлектированные. Субъективность же в отражении действительности присуща обоим. Так или иначе, представляется очевидным: в том, что касается восприятия и описания наблюданной реальности, у путешественника и у профессионального этнографа гораздо больше сходств, чем различий. Это позволяет рассмотреть “путешествия” под тем же углом зрения, что и научные этнографические тексты.

Следует заметить, что такой подход – весьма относительная новация, так как еще в 1970-е годы он был осуществлен Н.В. Котрелевым в работе, посвященной образу Востока в записках европейских путешественников. Формулируя методические положения своего исследования, автор делает следующее замечание: “Очевидно, для историка культуры… важно не то, что европеец узнает о существовании некоторого города, озера, царства, а то, что он о них узнает; важно, как пишет о них автор, важно в конце концов, какое значение придается новым сведениям в целом мировоззрении, какое место отводится им в общей картине мира и как она меняется, усваивая это сообщение”<sup>20</sup>. Формулировка проблемы в такой плоскости означает изменение привычной исследовательской перспективы и влечет за собой постановку новых вопросов и определение новых предметов исследования: “Побуждения, двинувшие в путь человека, его поведение и интересы в пути, выбор глазом тех, а не других до-стопримечательностей, способы наблюдения чуждой природы, нравов, верований, отношение к виденному, наконец, логика изложения узнанного и соотнесения его с опытом землепроходца – не важнее ли именно это?!”<sup>21</sup>.

В очерченном круге вопросов центральное место занимает проблема текстуализации, определяемой в антропологических работах как “процесс, в ходе которого поведенческие и речевые акты, верования, элементы устной традиции, ритуалы и т.п. вычленяются из непосредственно данной дискурсивной или практической ситуации и маркируются в качестве составляющих некоего потенциально осмыслиенного целого, приобретая коммуникативное значение”<sup>22</sup>. Таким образом, текстуализация выступает как атрибут всякого наблюдения и описания, в том числе этнографического. Ее изучение в последнем аспекте позволило исследователям утверждать, что в работе этнографа существенную роль играют механизмы сортировки и отбора информации, порождающие определенную точку зрения и ракурс наблюдения: «еще до всякого наблюдения, а также в его процессе и фиксации сначала в полевом дневнике, а затем в статьях и монографии, вступает в действие целый набор фильтров, отсеивающих “заслуживающие внимания” феномены от “незаслуживающих” для самого наблюдения, последующего описания и включения в итоговый текст»<sup>23</sup>. Рассмотрим, как действует этот механизм в описании путешествий.

\* \* \*

На рубеже XVIII–XIX вв. и в первые годы XIX столетия, вскоре после публикации “Писем русского путешественника” Н.М. Карамзина (и под их непосредственным влиянием), в российском обществе формируется устойчивый интерес ко всякого рода рассказам о странствиях. Литература путешествий находит все больше приверженцев как среди читателей, так и среди авторов. Возникает своеобразный жанр “путешествия”, имеющий свою топику, своих классиков и эпигонов<sup>24</sup>. Усилиями многочисленных последователей Л. Стерна и Н.М. Карамзина формируется определенный “способ повествования” о странствиях, который подспудно сам оказывает воздействие на создателей новых текстов, диктуя тематику, стилистику рассказа и прочие “законы жанра”. В рамках этого дискурса и ситуация путешествия, и фигура самого путешественника подвергаются стереотипизации. В результате тот или иной студент, учений, офицер, дипломат, совершая поездку, не просто осуществлял пере-

мещения в пространстве – он присваивал себе определенную социальную роль в определенной социальной ситуации. Кроме того, создавая текст своего “путешествия”, автор неизбежно ориентировался на ожидания адресата – читателя этого текста<sup>25</sup>. Таким образом, он становился (в большей или меньшей степени) заложником соответствующего дискурса. Все это в полной мере относится и к выбору предмета описания. Взгляд наблюдателя, фиксирующийся на тех или иных фрагментах реальности, в значительной степени направлялся потенциальным читателем. В связи с этим появление в материалах путешествий информации о неизвестных прежде странах и народах – не случайность, а своего рода “ответ на запрос”, удовлетворение интереса общества к этим сюжетам.

К началу XIX в. этот интерес был уже довольно устойчивым, так как он начал формироваться еще в последней четверти предыдущего столетия. В это время в России издаются многочисленные описания западноевропейских морских экспедиций, переводится “История о странствиях...” Ж.Ф. Лагарпа и многотомный “Всемирный путешествователь...” Ж. де Ла-Порта, пользовавшиеся большой популярностью у просвещенной публики<sup>26</sup>, российские читатели знакомятся с наблюдениями Дж. Кука, И.Р. и Г.А. Форстеров, Л.-А. Бугенвиля и других мореплавателей. Печатаются книги о разных странах и регионах мира<sup>27</sup>, где кроме традиционных сведений о территории, хозяйстве, политике, войнах и правительствах рассказывается об истории страны, языке, вере и обычаях местного населения. Более того, появляются сочинения, специально посвященные “нравам и обычаям” разных народов<sup>28</sup>. Увеличивается число этнографических сюжетов и в журнальных публикациях. Все это, конечно, не могло не отразиться и на литературе путешествий: к ней теперь предъявляется требование этнографического (точнее – антропологического) ракурса в описании иного<sup>29</sup>, в результате чего этнографические сюжеты становятся если не центральным, то одним из существенных компонентов в сочинениях путешественников.

Отмеченный интерес общества к иным, незнакомым странам и народам, с одной стороны, был органичным элементом в интеллектуальной атмосфере эпохи, пропитанной пафосом познания, столь характерным для века Просвещения, с другой стороны, он диктовался иной составляющей этой атмосферы – развитием этнического самосознания.

Начало XIX столетия занимает особое место в развитии этнического самосознания в русском образованном обществе. В это время, накануне Отечественной войны 1812 г., пробуждается глубокий интерес к русской истории, народному творчеству; национальная тема все более уверенно “звучит” в литературе, драматургии, изобразительном искусстве; завязывается знаменитая полемика о языке; вопросы патриотизма и народности становятся предметом активных дискуссий на страницах популярных столичных журналов, с новой силой обсуждается проблема “Россия и Европа”, предпринимаются попытки определить специфику российской истории, государства, национального характера. Центральное место в общественной мысли занимает проблема национальной самобытности. Иными словами, в общественном сознании идет интенсивный поиск этнической идентичности.

Центральным элементом идентичности признается *определение* своей общности в ряду прочих. Причем, *прочие* в этом процессе оказываются не менее важным элементом, чем сама идентифицируемая группа, поскольку о-предел-ение (буквально – как установление пределов, обозначение границ) предполагает наличие того, от чего от-деляются. Давно замечено, что всякое обозначение “Я” требует присутствия “Не-Я”, “Другого”. По образному выражению С.В. Соколовского, “паутина тождественности и идентичности ткется из нитей инаковости”<sup>30</sup>. Исходя из этого, можно предположить, что описанный выше интерес общества к иным народам в значительной мере стимулировался назревшей потребностью в собственной этнической идентичности. Путешествие же предоставляло оптимальную возможность для удовлетворения этой потребности, поскольку предусматривало непосредственную встречу с Другим<sup>31</sup>. Таким образом, сформулированный подход позволяет рассматривать путешествия как один из механизмов формирования национальной идентичности, а

тексты, содержащие описания этих путешествий – как ценный источник для изучения этнического самосознания в России начала XIX в. При таком подходе главным объектом исследования становится *представления* путешественника, анализ которых является основной задачей настоящей статьи.

\* \* \*

Собственно говоря, в отечественной историографии исследование “путешествий” в контексте этнического самосознания ведется уже довольно давно, правда, почти исключительно в одном аспекте. Речь идет об исследовании этнических стереотипов. Изучение представлений россиян о других народах на материалах заграничных путешествий началось еще в XIX в. и весьма активно развивается в настоящее время. Историки, филологи, этнографы реконструируют существовавшие в сознании россиян образы англичан, немцев, французов, евреев, финнов, славян, турок и других народов<sup>32</sup>. Причем, как правило, исследователи не ограничиваются лишь описанием стереотипа, а обращают внимание на процесс его формирования; в большинстве современных работ ставится проблема соотношения и взаимодействия стереотипа и наблюдаемой реальности<sup>33</sup>. Отдельно изучается вопрос о роли просветительских концепций в восприятии путешественниками “диких” народов<sup>34</sup>. В исследованиях, посвященных представлениям о славянах, особое место занимает интерпретация путешественниками идеи славянского единства.

Однако изучение этностереотипов вовсе не исчерпывает информационный потенциал “путешествий” как источника. В центре внимания оказываются иные стороны этнического самосознания, когда основной акцент исследования переносится с представлений о конкретных народах на представления о “народе” вообще: ведь для того чтобы сформировать образ того или иного народа, необходимо определить, “где кончается один из них и начинается другой”<sup>35</sup> и что определяет границу между ними. Что понимает путешественник под “народом”? Как, по его мнению, формируется эта общность, каковы в его представлении основные *этнообразующие факторы* (или фактор)? Иными словами, речь идет ни больше, ни меньше как о *концепции этноса*, только не научной, а *обыденной*. Ведь и профессионал, и любитель в описании иного народа исходят из своей интерпретации этого понятия, которая может представлять собой рациональную теорию, а может быть неотрефлектированным и невербализованным представлением<sup>36</sup>. В любом случае определенная *концепция* (или *модель*) этноса – необходимое основание и структурирующий фактор всякого этнографического описания. В отличие от стройной научной теории, обыденное представление может быть смутным, непоследовательным и противоречивым, что, однако, не отменяет сам факт его существования и не умаляет его ключевого значения как элемента самосознания, ведь именно оно в конечном счете определяет структуру этнических представлений, этнической картины мира. Однако если *научная концепция* (или концепции) излагается в теоретических трудах, из которых при необходимости ее можно перечертить, то для обыденного сознания такого определенного источника не существует – представление о “народе” имплицитно содержится в разнообразных текстах на этнографическую тематику. Выявление и анализ этого представления – самостоятельная исследовательская задача.

Для решения данной задачи на материалах путешествий стоит рассмотреть восприятие путешественником окружающей реальности как процесса социально-психологической перцепции и проанализировать задействованные при этом когнитивные механизмы. Одним из них, как известно, является *категоризация* – распределение окружающих событий и объектов по группам (категориям). На первом этапе категоризации в соответствии с принципом bipolarности происходит выделение общностей “мы” и “они”, после чего следует более дробная *дифференциация* группы “они” на основе определенного критерия<sup>37</sup>. Выделение общностей “второго уровня” (собственно “распределение человечества по народам”) осуществляется при помощи ряда признаков-маркеров, в которых проявляются основные межгрупповые различия. Разумеется,

критерии для этой классификационной процедуры могут быть разными в разное время и у разных людей, но очевидно, что именно этот критерий позволяет определить, что в представлении человека служит основным этнообразующим фактором. Следовательно, задача заключается в том, чтобы каким-то образом выявить критерий общей этнографической классификации, совершающей путешественником.

С одной стороны, искомый критерий может быть установлен, исходя из встречающихся в источнике *названий* описываемых групп (т.е. номенклатуры). Например, если в тексте в качестве отдельных общностей фигурируют *протестанты, православные, католики, мусульмане и иудеи и другие*, то можно говорить о том, что в данном случае межгрупповая дифференциация осуществляется на основе конфессионального критерия. С другой стороны, используемая автором номенклатура сама по себе не может служить достаточным основанием для определения искомого критерия, прежде всего по причине многозначности употребляемых терминов. В текстах “путешествий” *этнонимы* очень часто совпадают с *политонимами, конфессиональными и топонимами*. Так, под “немцем” может подразумеваться как этнический немец, так и подданный немецкого государства, и просто житель Германии. Таким образом, один и тот же термин может обозначать и этническую и государственную принадлежность, и просто указывать место проживания человека или социальной группы. В данном случае актуальное значение термина в конкретной ситуации проясняется из контекста.

Итак, выявление используемой путешественником этнографической номенклатуры должно сопровождаться анализом самого этнографического описания, прежде всего его структуры. Обычно этнографическая информация представлена в “путешествии” как последовательное повествование о тех общностях, которые попадают в поле зрения автора. Конечно, сведения об одной и той же группе располагаются в разных частях текста, однако чаще всего основные данные о ней представлены довольно компактно. Так или иначе, описание одной общности может рассматриваться как структурная единица, первичный элемент этнографического текста “путешествия”.

Сопоставление этих элементов позволяет зафиксировать некоторые закономерности. Описывая каждую конкретную общность, автор отмечает характерные для нее черты, которые относятся к самым разным сферам ее существования: хозяйству, языку, культуре, вероисповеданию и т.д. Однако обычно существует ряд “обязательных” параметров, информация по которым сообщается почти в каждом случае относительно той или иной общности. Это те “вопросы”, которые наблюдатель задает всякому новому объекту своего “исследования”, и ответы на которые, по-видимому, представляются ему наиболее важными для характеристики любой описывающей группы. Очевидно, что выбор этих универсальных параметров не случаен.

Анализируя процесс текстуализации в работе этнографа, С.В. Соколовский, между прочим, формулирует следующие вопросы: что именно превращается в текст? Какие события, явления, поведенческие акты “текстуализуются”<sup>38</sup>? Одним из таких факторов, влияющих на отбор данных в ходе научного исследования, является та или иная постановка проблемы. В принципе это верно и по отношению к ситуации путешествия: выбор путешественником тех или иных параметров для этнографического описания также обусловлен стоящими перед ним задачами.

В интересующем нас случае эти задачи определялись двумя обстоятельствами: просветительской функцией путешествия и актуальностью проблемы этнической идентичности. Описания путешествий должны были служить источником нового знания (например, содержать информацию о неизвестных народах), при этом при описании того или иного народа особое внимание обращалось на те особенности, которые определяли его особое, индивидуальное место в окружающем социальном (этническом) пространстве. Таким образом, наиболее важными для автора “путешествия” оказывались как раз признаки, позволявшие осуществить межгрупповую дифференциацию и установить идентичность каждой группы. Судя по всему, эту функцию выполняли выявленные выше универсальные параметры описания. Следовательно, их анализ позволит определить этнообразующие факторы в сознании

путешественника и в конечном счете реконструировать разделяемую им “концепцию этноса”.

\* \* \*

Вместе с тем анализ исследуемых материалов в обозначенном ракурсе не позволяет зафиксировать в них такую единую концепцию – скорее можно говорить о существовании по крайней мере двух самостоятельных моделей. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

Первая из выявленных моделей наиболее последовательно реализуется в сочинении Ф.П. Лубяновского. Его путь пролегал через Саксонию, Чехию, Австрию, Штирию, Каринтию, Словению и Италию. Если маршрут этого путешествия провести по современной этнической карте Европы, он пройдет по территориям расселения разных народов: немцев, чехов, словаков, австрийцев, словенцев, итальянцев. Однако сам Ф.П. Лубяновский говорит о своей поездке как о пребывании “в некоторых Немецких городах и в Италии” (Лубяновский, I: 5<sup>39</sup>), а из известных ему народов упоминает саксонцев (немцев), богемцев, австрийцев, “венгерцев”, жителей Штирии, римлян, неаполитанцев, тосканцев и др. Уже из этого перечня можно понять, что автору присуще особое понимание “народа”, отличное от его современной этнической интерпретации: “народ” для Ф.П. Лубяновского – это прежде всего *жители определенной историко-географической области – отдельного государства (как Саксония или города-государства Италии) или просто какой-либо территории, в представлении путешественника достаточно автономной в силу ее географических, культурных, исторических или других особенностей (например, Богемия или Венгрия в составе Австрийской империи)*. Соответственно, и этнографическое описание строится по территориальному принципу: от одной области к другой.

Так, рассказ о Богемии открывается следующим пассажем: “Горы разделяют Саксонию от Богемии. С вершины их, лесами покрытой, представляется тебе тотчас прекрасная долина, которую ты едва можешь измерить глазами. С удовольствием видел я по всему ее пространству изобильные жатвы, показывающие труды жителей” (Лубяновский, I: 90–91), и далее: “местоположение и умеренный климат сего края весьма способны для хлебопашства… Богемия, однако, едва ли еще может сравняться с Саксонией. Здесь, кажется, природа все сама более делает” (Там же, I: 106). Даный фрагмент, несмотря на свою краткость, содержит те параметры, которые являются ключевыми для разбираемой модели.

Прежде всего в описании почти каждой области говорится о том, насколько благоприятны местный *климат* и *природные условия*. Другой такой обязательный признак – *трудолюбие* местных жителей. Например, читателю сообщается, что в Саксонии “столько все любят трудиться, что женщины даже в театр с работою ходят” (Там же, I: 18), жители Богемии в труде не так усердны (Там же, I: 106), австрийцы весьма усердны, хотя половина жителей Вены ничего не делают (Там же, I: 150), а для римлян “труд – зло, праздность – счастье” (Там же, II: 88). Два показателя – климат и трудолюбие – не просто фигурируют вместе, но интерпретируются автором как причина и следствие, причем эта связь имеет характер обратной зависимости: чем более благоприятен климат и плодородна земля, тем менее трудолюбивы жители.

Развернутое объяснение этой зависимости находим у В.Б. Броневского: “Народ, живущий в жарком климате, где природа с избытком расточает дары свои, не чувствуя холода, который принуждал бы его строить теплый дом и покрывать тело свое теплою одеждою, небрежет о наружности и носит одно платье во всякое время года; по той же причине с малыми трудами … добывает пропитание, не боится голода, ибо, если бы не родился хлеб, то плоды заменят онай, и лес представляет ему всегда готовую пищу… Словом, здесь ни замерзнуть, ни умереть с голода невозможно, и вот, кажется, источник ленинсти вообще всех народов, живущих в плодоносных странах Юга” (Броневский, Записки, III: 233–234). По этой причине “трудолюбивый

норвежец в бесплодной земле достает себе лучшее содержание, нежели ленивый итальянец в стране, облагодетельствованной всеми дарами природы” (*Там же*, I: 91). Леность жителей – причина их бедности: “Бедность там, где во время Римлян Сицилия была житницей, конечно, произошла от праздности, чему много способствует прекрасный климат” (*Панафидин*, 34).

Самым наглядным выражением и символом трудолюбия того или иного народа в глазах путешественников является вид пахотных земель, что делает его предметом особого внимания: подобно тому, как в Богемии “изобильные жатвы” показывают “труды жителей” (см. выше), так и в Нижней Австрии “не видишь нигде ни пяди земли, которая бы не была или засеяна, или покрыта жатвою” (*Лубяновский*, II: 215), в Турции “видимые поля, кажется, весьма тщательно обработаны” (*Броневский*, Записки, III: 77), то же в окрестностях Портсмута: “трудолюбие видно на каждом шагу; нет и клочка земли необработанной” (*Там же*, I: 47). Иную картину представляет Венгрия, где “для посева хлеба полей находится... весьма много, но, однако, не многие из них обработаны бывают, чему, кажется, причиною ленность здешних поселен” (*Мельников*, 620).

Более подробно говорит о Венгрии Ф.П. Лубяновский: “Венгрия одна из лучших областей Австрийской Империи. Неистощимые сокровища, в ней скрытые, ожидают только руки трудолюбия. Я почти не видел этого края, но уверяли меня, что в иных местах пространные долины сей плодоносной земли представляют еще вид пустынь, дикими зверями обитающих. В Венгрии разве только шестая часть народа против того числа, сколько бы она могла свободно питать. Все произведения искусства она еще из посторонних рук получает. Знание Латинского языка там еще верх просвещения” (*Лубяновский*, I: 168). Показательно, что автор не делает никакого перехода от описания природного ландшафта к разговору об уровне просвещения. Очевидно, в его сознании эти вещи взаимосвязаны. Характер этой взаимосвязи раскрывается далее: “От многих здесь я слышал, что великие причины заставляют, если можно употребить сие выражение, пускать в Венгрию свет не вдруг, а по временам и постепенно; что по некоторой, не менее важной предосторожности, должно ей оставаться во всегдашней скучости, что от малого попечения владельцев о их собственности и того небрежения, в котором там спит крестьянин, подвластный владельцу и ничего своего не имеющий, край сей далек еще от того степени, до коего он мог бы достигнуть: иные, наконец, возлагают всю вину на небо, которое столько благоприятствует сей стране, что ея жителям не для чего проливать столько поту” (*Там же*, I: 169). Таким образом, автор устанавливает связь между природными условиями, трудолюбием и уровнем просвещения народа, поэтому, например, “в Вене для наук все подготовлено с большим попечением” (*Там же*, I: 141–142), а в Неаполе, где “природа... в вечном цвете”, а “человек только вянет” (*Там же*, II: 87, 89), “науки упали прежде, чем встать на ноги” (*Там же*, II: 96). Трудолюбие, воплощенное в образе обработанной земли, – залог развития просвещения среди жителей, и наоборот – “степень просвещения народа измеряется успехами земледелия и торговли” (*Броневский*, Записки, I: 247). Более того, трудолюбие определяет не только просвещенность, но и нравственность, тогда как “праздность, как мать пороков, порождает злодеяния” (*Там же*, IV: 110).

Итак, проведенный анализ позволяет говорить о существовании в сознании путешественников своеобразной модели этноса, которую можно было бы назвать “географической”. В соответствии с ней под “народом” понимаются прежде всего жители определенной области. Народы различаются между собой по степени трудолюбия, благосостояния, уровню просвещения и нравственности. Главный фактор, определяющий эти различия, – природные условия, климат конкретной территории. Концепция, в соответствии с которой природа изначально определяет уровень развития, нравы и культуру народа, известна под названием географического детерминизма. Основные ее положения были сформулированы в трудах французских просветителей (прежде всего Ж.-Б. Дюбо и Ш.-Л. Монтескье) и получили широкое распространение.

нение в европейской общественной мысли XVIII в. В России эти идеи были не только хорошо известны, но и глубоко усвоены, превратившись в своего рода фоновое знание, что и позволяло использовать их для объяснения наблюдаемой социальной реальности.

Как уже отмечалось, выделяемые путешественником области нередко представляли собой отдельные государства. И в этом случае “народ” понимался как гражданин/подданные данного государства. (Именно такое понимание позволяло, например, И.Ф. Крузенштерну говорить о себе как о *русском мореплавателе*.) Примером такого толкования могут служить высказывания Г.М. Мельникова. Описывая Мессину, автор отмечает: “Фруктов же здесь по причине теплого климата, чрезвычайно много, а особенно лимонов и апельсинов, которым, в рассуждении их лучшей, в сравнении с производимыми в других нациях, доброты бывает большой вывоз” (*Мельников*, 84–85). Очевидно, что слово “национа” здесь употреблено в значении “страна”. То же значение имеет этот термин и ниже, когда речь идет о “национах, где могут существовать заразительные болезни” (*Там же*, 620), или о дипломатическом инциденте на море, во время которого командир английской шхуны просил у российского флагмана гребное судно, в чем “ему было отказано, по той причине, что по силе разрыва между Россией и Англиею ныне существующего, не должны мы иметь с народом их нации никакого сообщения” (*Там же*, 526). Такая “государственная” трактовка “национа” типична для изучаемой эпохи<sup>40</sup>, и хотя сам этот термин весьма редко встречается в текстах путешественников, понимание “народа” как *населения страны* было довольно распространенным.

\* \* \*

Целый ряд признаков в сочинениях разных авторов свидетельствует о существовании в их сознании иного представления об этносе, чем описанный выше. В отличие от предыдущей – “географической” – данная модель может быть так же условно обозначена как собственно “этническая”. Для нее основной единицей описания тоже является *народ*, однако, в это понятие вкладывается иное содержание, что диктует и иную стратегию описания: в центре внимания теперь не природные условия местности или трудолюбие жителей, а совсем другие параметры.

Так, рассказ о каждом народе почти всегда включает описание его типичного внешнего вида. Иногда речь идет только о костюме (*Броневский*, Записки, I: 227, 278–279, IV: 91; Путешествие, I: 122–123, II: 2, 3; *Левенштерн*, 86, 87; *Панафидин*, 71; *Клемент*, 276), иногда описываются только некоторые черты внешнего облика – лицо, волосы, телосложение и пр. (*Броневский*, Записки, I: 279, III: 145; Путешествие, I: 55, 138; *Панафидин*, 72, 86; *Левенштерн*, 80; *Крузенштерн*, 76–77; *Лисянский*, 79, 102), но чаще “антропологическое” описание и описание одежды даются вместе (*Коростовец*, 47; *Панафидин*, 43; *Крузенштерн*, 164; *Лисянский*, 128–129, 179). Путешественники приписывают каждому народу индивидуальную внешность (“физиономию” – *Свиньин*, II: 216). То же самое касается и костюма (“платья”, “одежды”): каждый народ имеет “свою одежду” (*Броневский*, Записки, IV: 228). Поэтому можно одеваться, например, “по-турецки” (*Там же*, III: 50), или “по-французски” (*Там же*, I: 211). Одежда в глазах путешественников становится знаком того или иного народа. В рассказе В.Б. Броневского о Мессине, где “одежды турок, греков, славян и итальянцев такую делают пестроту, какой редко где видеть можно” (*Там же*, I: 107) разнообразие *одежды* отражает многочисленность *народов*. Костюм, таким образом, выступает в роли дифференцирующего признака. Поэтому по одежде человек может понять, что он находится среди чужаков (*Свиньин*, I: 4), или, наоборот, – среди своих (*Тургенев*, 5). Одинаковый костюм дает основания П.П. Свиньину объединять жителей испанских и французских Пиренеев в один народ (“басков” или “пиринейцев” – *Свиньин*, III: 35), а И.Ф. Крузенштерну считать население южного Сахалина и север-

ной части о-ва Иессо “тем самым народом, который со времен Сканберга называет-ся мохнатыми курильцами” (*Крузенштерн*, 164).

Костюм является столь важным признаком, что порой его одного достаточно, чтобы идентифицировать владельца. Во время кругосветного плавания лейтенант “Надежды” Е.Е. Левенштерн, выполняя задание капитана И.Ф. Крузенштерна и измеряя глубину в одном из заливов в северной части Сахалина, заметил, что “на берегу сидело 32 айна, а три человека в татарской или китайской одежде стояли недалеко от воды и махали нам лисьими шкурами” (*Левенштерн*, 87). На основе этой информации И.Ф. Крузенштерн сделал заключение, что люди рядом с айнами – татары (*Крузенштерн*, 199)<sup>41</sup>. В другом месте капитан “Надежды” рассказывает о своей встрече с островитянами Тихого океана: “На лодке был один англичанин, которого вначале по-чли мы природным островитянином, потому что все одеяние его по здешнему обычаю, состояло в одном только поясе...” (*Там же*, 58). Здесь “неанглийская” одежда не позволяет идентифицировать человека как англичанина – он, в соответствии со своим нарядом, воспринимается как туземец<sup>42</sup>. Если “чужой” костюм может ввести в заблуждение относительно этнической принадлежности человека, то отсутствие выразительного костюма вообще делает идентификацию невозможной: рассказывая о своем пребывании в турецком плена, Н.М. Клемент сообщает: “трудно было по нашему платью причислить нас к какой-либо нации: ибо мы так были оборваны, что сами с удивлением смотрели друг на друга” (*Клемент*, 276). То же касается и внешнего облика: Н. Коростовец признается, что он затрудняется определить этническую принадлежность своей возлюбленной (“я не помещу ее ни в какую нацию”), так как ее облик не соответствует ни одному из известных путешественнику национальных “типов”: “Она не римского лица, не греческой белизны...” (*Коростовец*, 234), а В.Б. Броневский, описывая венгерский город Грос-Каниш (*Надьканижа*), отмечает: “Большая часть жителей из жидов и цыган, есть и венгры..., есть и славяне..., но все сии народы имеют такие иссохшие и желто-смуглые лица, что их одного от другого никак отличить невозможно” (*Броневский*, Путешествие, I: 61–62)<sup>43</sup>.

При всей своей важности характерные черты внешнего облика – не единственный признак того или иного народа. Путешественники неоднократно говорят о языках, характере, привычках разных народов (*Коростовец*, 47, 62, 447; *Свинин*, I: 124, 128–129; II: 215–216; *Панафидин*, 44, 73, 86, 90; *Крузенштерн*, 48–49). В.Б. Броневский упоминает русские, славянские, итальянские, английские и другие обычаи (*Броневский*, Записки, I: 144, 213; II: 116, 255–256 и др.). По этим специфическим обычаям и привычкам так же, как и по внешнему виду, можно определить этническую принадлежность. Поэтому, гуляя по саду в Триесте, путешественник легко различает немцев и итальянцев: “при первом на них взгляде немцы сидят кучками на траве, пьют, едят, в руках кружки с пивом, во рту трубка, круглые, румяные женщины суетятся вокруг их и подкладывают им приготовленный бутерброд (хлеб с маслом). Итальянцы, напротив, выступая театральными шагами, насищивают арию..., заглядывают в глаза женщинам, кои с прекрасным станом, с бледным на лице изнурением, с пламенным нежным взглядом охотно принимают вежливости кавалеров, какие у нас почлись бы не слишком пристойными” (*Броневский*, Записки, I: 303). Этнодифференцирующим признаком могут служить и архитектура (*Свинин*, I: 172, 259; *Панафидин*, 72–73), и театр (*Коростовец*, 64; *Свинин*, II: 273), и музыкальные пристрастия. Так, полагая, что каждый народ склонен к определенным музыкальным жанрам, В.Б. Броневский отмечает, что, будучи в Палермо, “по музыке и пению тотчас догадаться можно, что находишься в одной из столиц Италии” (*Там же*, II: 135).

Итак, каждый народ обладает набором определенных отличительных свойств. При этом совокупность этих свойств передается от предков потомкам, и в разных случаях эти качества сохраняются в большей или меньшей степени. Так, “Краинцы – пишет Броневский, – сохранили добродетели, свойственные славянам: они трудолюбивы, храбры, терпеливы, сметливы и преимчивы” (*Броневский*, Путешествие, I: 29). Однако не все свойства народ перенимает у своих предков – часть их приобре-

тается у соседей. Поэтому от живущих рядом немцев те же краинцы “приобрели какую-то неловкость, неповоротливость” (*Там же*), а греки Тенедоса “столь долго живши с турками, приняли их обыкновения, носят чалмы и, кажется, мыслят подобно чалмоносцам” (*Броневский, Записки, III: 24*;ср.: *Мельников, 353; Сванин, II: 279*). Важно подчеркнуть, что по мысли автора, приобретение народом каких-либо новых качеств от своих соседей препятствует сохранению обычаяев предков и наоборот. Так, в восточной части Венгрии В.Б. Броневскому “весъма приятно было заметить”, что живущие там русины “сохранили все древние качества наших прародителей, несмотря на то, что окружены разноплеменными народами” (*Броневский, Путешествие, I: 160*), а “Черногорцы, удержав вольность свою и имея мало сообщения с иноземцами, сохранили в полной чистоте коренной славянский язык. Выговор их мягче и приятнее, нежели сербов, кроатов и далматов, ибо первые мешают славянские слова с турецкими, вторые с немецкими, а последние с итальянскими” (*Броневский, Записки, I: 249–250*). Наконец, что касается греков, то, по замечанию путешественника, у тех, “которые малые имеют сношения с иностранцами, можно найти гостеприимство и приветливость, коими славились их предки” (*Там же, III: 142*). Подразумевается, вероятно, что у остальных греков место этих древних добродетельных качеств заняли иные обыкновения, перенятые у иностранцев. Таким образом, контакты с иными народами ведут к исчезновению наследственных качеств – древних “обыкновений” и “размыванию культурного генофонда” народа.

Генетическая метафора в данном случае представляется вполне уместной, поскольку наиболее адекватно передает сущность описываемой “концепции этноса”. Рассказывая о своем пребывании в Лайбахе, В.Б. Броневский, верный своему обыкновению, описывает внешность местных жителей: “здесь женщины среднего состояния вообще все красавицы. Кровь славянская, смешанная с немецкою, придает женщинам особенные черты и красоту; они при черных волосах могут похвалиться белизною, румянцем и стройностью стана” (*Броневский, Путешествие, I: 19*). Примечательно, что “особенными чертами и красотой” женщины обязаны своей “крови”, а, например, не горному воздуху или теплому климату. Внешний вид, как и различные свойства народа, являются “природными”, но не потому, что определяются природой, а потому, что усваиваются людьми при рождении, от своих родителей. Это изначальные, примордиальные характеристики человека. При таком подходе все члены одной общности – народа – воспринимаются, по большому счету, как родственники.

Такая интерпретация актуализирует дискурс родства, в рамках которого становится возможным реконструировать родственные связи между разными народами. Эти реконструкции основываются на допущении, что народы, происходящие от одного предка, должны иметь сходные свойства. Так, общий предок – древние греки – определил наличие сходных качеств в характере потомков – греков и сицилийцев XIX в. (*Броневский, Записки, IV: 78*). А родство португальцев и итальянцев проявляется в их музыке и танцах: “Музыка португальская согласием и простотою сходствует с итальянскою, пляска же, в коей есть много смелых и неприличных даже для театра движений, показывает, что португальцы в родстве с итальянцами...” (*Там же, III: 224*). Соответственно, очевидное сходство двух разных народов по какому-либо признаку заставляет предполагать их родство: общие черты характера и вероисповедание греков и русских позволяют П.П. Сванину воспринимать эти два народа как “ближних родственников” (*Сванин, II: 234, 235*).

Однако, как правило, к самым близким “родственникам” русских путешественники относят другие славянские народы. По словам В.Б. Броневского, все славяне – “братья по крови” (*Броневский, Записки, I: 290*). Их родство проявляется в самых разных сферах – в обычаях, музыке, языке (*Броневский, Путешествие, I: 28, 53*). Многие авторы (В.Б. Броневский, А.И. Тургенев и др.) при упоминании того или иного населенного пункта указывают, наряду с немецким или итальянским, еще и его славянское название. Они подчеркивают, что интерес к славянским народам для русского человека естествен именно в силу общеславянского единства. “Я постара-

юсь собрать для тебя, любезный друг, разные полезные... сведения и в общей картине изображу нравы и обычай жителей, по сродству с нами заслуживающих особенное внимание”, – замечает путешественник, предваряя свой рассказ о жителях Крайны (Броневский, Путешествие, I: 24). А.И. Тургенев, побывав в местности, населенной лужицкими сербами, пишет: “Для русского славянина они (эти места. – П.К.) должны быть интереснее Италии, потому что там жил народ, для нас совершенно чуждый, здесь же все дышит славянизмом” (Тургенев, 14). Общность славянских народов определяет и их взаимные симпатии. Примеры братского отношения и особой преданности славян к России и русским в большом количестве встречаются в материалах разных авторов (Панафидин, 41; Мельников, 249, 331; Броневский, Записки, I: 117, 144; Тургенев, 9, 14, 42 и др.).

Причины взаимных симпатий разных народов не всегда кроются в их родственных связях, однако и дружеские, и враждебные отношения между ними почти всегда имеют наследственную природу – “дружба” и “вражда”, как правило, являются “природными”, они, подобно прочим свойствам, передаются из поколения в поколение. П.П. Свинин во время путешествия находит подтверждения взаимной любви русских и англичан: “две нации сии созданы любить и почитать одна другую” (Свинин, I: 82), а И.Ф. Круzenштерн в Тихом океане становится свидетелем того, что вражда между англичанами и французами проявляется не только в Европе: “Итак, даже и здесь не могла не обнаружиться врожденная ненависть, существующая между англичанами и французами...” (Круzenштерн, 59; ср.: Броневский, Записки, IV: 179). А.И. Тургенев отмечает естественную неприязнь между славянами и немцами (Тургенев, 13, 15, 17). Этим он объясняет слабость австрийской армии: войско, состоящее в большей части из славянских народов, “при всей своей доброте и храбости никогда не могло стоять даже против французов. Может ли славянский солдат с усердием драться за немца – непримиримого врага своего...” (Там же, 17).

Итак, параметры, по которым осуществляется описание народов, сама стратегия описания и логика повествования свидетельствуют об ином понимании “народа”, отличном от “географического”. Оно проявляется и в этнографической номенклатуре, используемой путешественниками, в частности В.Б. Броневским. Побывав в самых разных странах и исторических областях Европы (Дания, Англия, Италия, Греция, Далмация, Турция, Португалия, Крайна, Штирия, Венгрия, Галиция), среди тех, с кем ему приходилось встречаться, он называет англичан, немцев, французов, итальянцев, черногорцев, бокезцев, славян, греков, турок, жидов, венгерцев, сербов и др. Уже из этого неполного списка понятно, что *территория, государство* не являются для него сколь-нибудь значимым критерием. В противном случае среди перечисленных народов не было бы итальянцев, поскольку единого итальянского государства тогда еще не существовало, а каждая итальянская провинция чаще всего воспринималась как отдельное государственное и территориальное образование. То же самое касается и сербов (и особенно сербов Воеводины, о которых как раз и идет речь), так как они не обладали политической автономией внутри Австрийской империи, и Воеводина (в отличие от Богемии) не воспринималась еще как отдельная территория. Наконец, особенно показательно присутствие в списке славян<sup>44</sup>. Независимого славянского государства за пределами России в то время не существовало, а многочисленные славянские народы населяли самые различные области Европы.

Таким образом, существующая в сознании путешественника этническая карта Европы отлична от политической. Границы государств и исторических областей не совпадают с границами расселения выделяемых путешественником общностей. Если в рамках “географической” модели путешественник, пересекающий границу государства или какой-то области, автоматически попадает на территорию другого народа, то здесь все иначе. П.П. Свинин, находясь в Ревеле, записывает следующее: “Темные, нечистые улицы, обычай и одежда знакомят невыезжавшего никогда из *Rossii* (курсив оригинала. – П.К.) с иностранными городами: с первого шагу почувствуешь, что находишься не в своем отечестве” (Свинин, I: 4). Характерно, что Ревель тогда входил в состав России.

Очевидно, автор в данном случае под “отечеством” подразумевает не Российской империю, а Россию как территорию, населенную русскими; только при таком понимании Ревель может быть назван “иностранным” городом. Похожий случай описан тем же автором в другой части его записок: переезжая границу Испании и Франции в Пиренеях, он говорит, что не замечает почти никакой разницы в населении: “Я во Франции, но доселе мало еще видел различия с Испанией; тот же еще костюм, который оставил я в Пиринеях, тот же язык – баской, странный для моего уха” (*Свинин, III*: 35). Эта ситуация несомнениями государственных и этнических границ воспринимается путешественниками как вполне обычная и упоминается неоднократно<sup>45</sup>.

Именно при такой ситуации становится возможным несовпадение этнической и гражданской идентичности. В этом случае их обозначение путешественником включает оба параметра. “Русский немец” в письмах А.И. Тургенева (*Тургенев, 3*) – это этнический немец, живущий в России, или являющийся подданным российского императора. Его переход в Россию или переход на русскую службу не делает его русским. В рамках данной модели перемена этнической принадлежности представляется нереальной, тогда как географическая модель в принципе допускает такую возможность: Ф.П. Лубяновский приводит рассказ о том, как на пустующих территориях в Тоскане “водворились иностранцы... и стали природными тосканцами” (*Лубяновский, II* : 153). Таким образом, чтобы стать “природным тосканцем” вовсе не обязательно даже родиться в Тоскане – достаточно просто жить там. Следует заметить, что данная ситуация кажется абсурдной только в рамках “этнической” модели, тогда как с точки зрения “географического” понимания этноса все вполне логично: поскольку основным фактором, определяющим идентичность человека, является территория, на которой он живет, то перемена места жительства влечет за собой и смену этнической принадлежности.

\* \* \*

Подытоживая все сказанное выше, следует отметить несколько моментов.

Прежде всего проведенный анализ позволяет утверждать, что в России начала XIX в. среди путешественников, побывавших за границей и оставивших описания своих поездок, не существовало универсальной, разделяемой всеми “концепции этноса”. Представления в этой сфере были довольно разнообразными. Однако наибольшее распространение получили две независимые интерпретационные модели, условно обозначенные в данной статье как “географическая” и “этническая”. В их основе – различные интерпретации понятия “народ” – в одном случае как общности географической (или государственной), в другом – как собственно этнической, “племенной”. То или иное понимание определяет соответствующий критерий для совершаемой путешественником этнографической классификации, представляющей собой не всегда осознаваемую, но всегда необходимую для последующего описания операцию. Межэтническая дифференциация осуществляется путешественником посредством выделения ряда признаков-маркеров, отличающих каждую описываемую группу.

Принципиальное различие выявленных моделей заключается в том механизме, который обеспечивает единство народа как социальной общности. В одном случае универсальность и постоянство существенных свойств каждой группы определяется прямым действием первичного фактора (территории), изменение которого влечет за собой перемену всех ключевых дифференцирующих показателей, а значит, и смену идентичности. В другом случае набор этих базовых свойств имеет наследственный характер и поэтому не может быть изменен никакими внешними обстоятельствами.

В заключение хотелось бы подчеркнуть еще один существенный момент. Выявление и описание моделей этноса, присутствующих в материалах путешествий, – важный, но не окончательный результат исследования. Это скорее промежуточный этап, позволяющий наметить дальнейшие направления анализа. Изучение “путешествий” показывает, что ни в одном из рассматриваемых текстов ни одна из выявленных моделей не представлена в “чистом виде” – элементы обеих встречаются прак-

тически у каждого автора. Сочетание принципиально различных элементов в рамках одного текста оказывается возможным в силу их неосознанного характера. Любая из описанных моделей предстает в виде законченной и логически непротиворечивой системы лишь в результате аналитической деконструкции рассматриваемых текстов. В самой же практике путешествия и рассказа о нем элементы разных моделей существуют в виде неотрефлектированных, невербализованных установок и допущений, и в разных ситуациях происходит актуализация тех или иных элементов. Таким образом, следующим этапом исследования должно стать изучение этой дискурсивной практики, в частности анализ форм, закономерностей и функций *сочетания разных моделей* в текстах “путешествий”. Такой “разворот” проблемы позволяет вплотную подойти к вопросу о влиянии описываемой реальности на само описание. Какую роль она играет в выборе путешественником той или иной модели? Существует ли вообще зависимость между объектом наблюдения и повествованием о нем, и если да, то каков характер этой зависимости? Является ли описание простой производной от того, что описывается, или эта связь более сложная?

Другое направление исследования – определение того, насколько выявленные модели этноса характерны для всего российского общества. В частности, как соотносятся понимание “народа” путешественником и то представление, которое существует в народной среде? Известно, что для народного сознания в рассматриваемый период наиболее актуальна идентификация по конфессиональному признаку<sup>46</sup>. В какой степени такое представление было свойственно путешественникам и как оно проявлялось в их сочинениях?

Хотя сформулированные вопросы позволяют реконструировать лишь некоторые аспекты этнических представлений путешественников, они наглядно свидетельствуют о богатом информационном потенциале исследованных материалов как источника для изучения этнического самосознания в самых разных аспектах. Особенно продуктивным представляется использование этих текстов в исследовании формирования и функционирования этнической идентичности на уровне отдельной личности – одной из актуальных, но все еще мало изученных проблем современной этнологии.

## Примечания

<sup>1</sup> Несколько фрагментов объемного дневника Е.Е. Левенштерна опубликованы Б.Н. Комиссаровым и Т.К. Шафрановской в 1980–1990-е годы. В данной статье используется одна из этих публикаций в: Сов. этнография (далее – СЭ). 1985. № 1. С. 81–87. См. также: Круzenштерн И.Ф. Путешествие вокруг света на корабле “Надежда” в 1803–1806 гг. М., 1950; Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света на корабле “Нева” в 1803–1806 гг. М., 1947.

<sup>2</sup> Броневский В.Б. Записки морского офицера в продолжение кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Д.Н. Сенявина от 1805 по 1810 гг. Ч. I–IV. СПб., 1818–1819; *Он же*. Путешествие от Триеста до Санкт-Петербурга в 1810 году. Т. 1–2. М., 1828; Клемент Н.М. Записки Русского Офицера о плавании в Средиземное море и пребывании в плена у албанцев и турок // Северный Архив. 1823. № 17–18. С. 265–286, 337–357; Коростовец Н. Из путевых записок моряка Николая Коростовца // Русский Архив. 1905. Кн. I. № 1. С. 43–69; № 2. С. 201–237; Мельников Г.М. Дневные морские записки, веденные на корабле “Уриил” во время плавания его в Средиземном море с эскадрою под начальством вице-адмирала Д.Н. Сенявина состоявшимо. Ч. 1–3. СПб., 1872; Панафидин П.И. Письма морского офицера (1806–1809 гг.). Пг., 1916; Свинин П.П. Воспоминания на флоте Павла Свинарина. Ч. I–III. СПб., 1818.

<sup>3</sup> Тургенев А.И. Путешествие А.И. Тургенева и А.С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. // Архив братьев Тургеневых. Вып. 4. СПб., 1915; Лубяновский Ф.П. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800–1801 и 1802 гг. Ч. 1–3. М., 1805.

<sup>4</sup> Липшиц Б.А. Этнографические исследования в русских кругосветных экспедициях первой половины XIX в. // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. I. М., 1956. С. 229–322 (Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Нов. сер. Т. XXX); Гроздова И.Н. Материалы по этнографии народов Западной Европы у русских путешественников (до середины XIX в.) // Там же. С. 323–343; Шур Л.А. Дневники и записки русских путешественников как источник по истории и этнографии стран Тихого Океана (первая половина XIX в.) // Австралия и Океания. История и современность. М., 1970. С. 202–212; Токарев С.А. Начальный период славянской этнографии // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VII Междунар. съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Докл. советской делегации. М., 1973. С. 237–249; Комиссаров Б.Н. Этнографические исследования академика Г.И. Лангдорфа // СЭ. 1975. № 3. С. 83–98; Тумаркин Д.Д. Материалы первой русской кругосветной экспедиции как источник по истории и этнографии Гавайских островов // СЭ. 1978. № 5. С. 68–85; Комиссаров Б.Н., Шафрановская Т.К. Дневник русского мореплавателя Е.Е. Левенштерна как историко-этнографический источник // Краткое

содержание докладов научной сессии, посвященной основным итогам работы в 10 пятилетке. Л., 1983. С. 9; Керимова М.М. Югославянские народы и Россия: Этнографические сюжеты в русских публикациях и документах первой половины XIX в. М., 1997.

<sup>5</sup> Шандыбин С.А. Постмодернистская антропология и сфера применимости ее культурной модели // Этнограф. обозрение (далее – ЭО). 1998. № 1. С. 17. Согласно теории источниковедения И.Д. Ковалченко, возникновение исторического источника представляет собой информационный процесс, в котором фигурируют субъект (творец источника) и объект (отображаемая реальность), а в самом источнике отражается информация о том, и о другом (Ковалченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 115–116).

<sup>6</sup> Показательно, что в учебнике этнологии записи путешественников также упоминаются только в этом контексте: Этнология: Учебник для вузов. / Ред. Г.Е. Марков, В.В. Пименов. М., 1994. С. 46–47.

<sup>7</sup> Токарев С.А. История русской этнографии (Дооктябрьский период). М., 1966. С. 143.

<sup>8</sup> Липицци Б.А. Указ. соч. С. 314.

<sup>9</sup> Там же. С. 309.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же. С. 318.

<sup>12</sup> Там же. С. 312.

<sup>13</sup> Например, отмечается, что одни сочинения более “правдивы”, чем другие – Гроздова И.Н. Указ. соч. С. 335.

<sup>14</sup> Керимова М.М. Указ. соч. С. 87.

<sup>15</sup> См., напр.: Writing culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley; Los Angeles; London, 1986; Соколовский С.В. Этнографическое исследование: идеал и действительность // ЭО. 1993. № 2–3; Козенко А.В., Моногарова Л.Ф. Эпистемология этнологии // ЭО. 1994. № 4.

<sup>16</sup> Пименов В.В. Этнографический факт // ЭО. 1990. № 3. С. 46.

<sup>17</sup> Козенко А.В., Моногарова Л.Ф. Указ. соч. С. 10.

<sup>18</sup> Writing culture... Р. 6.

<sup>19</sup> Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1978. С. 95–96.

<sup>20</sup> Котрелев Н.В. Восток в записках европейского путешественника // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. С. 481. Следует заметить, что собственное исследование Н.В. Котрелев предваряет анализом историографии, в котором также отмечает преобладание “утилитарного” подхода к материалам средневековых путешествий и указывает на необходимость изменения традиционной точки зрения на эти источники.

<sup>21</sup> Там же. С. 482.

<sup>22</sup> Рокитянский В.Р. Чего ждать от постмодернистской этнографии? // Этнometодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 1. М., 1994. С. 84.

<sup>23</sup> Соколовский С.В. Этнография как жанр и как власть // Этнometодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 2. М., 1995. С. 138.

<sup>24</sup> Роболи Т. Литература “Путешествий” // Русская проза. Л., 1926.

<sup>25</sup> Тарновский А.В. Путешествия: практика и повествование // Культурное пространство путешествий: Матер. науч. форума. СПб., 2003. С. 311.

<sup>26</sup> Лагарп Ж.Ф. История о странствиях вообще по всем краям земного круга. Ч. 1–22. М., 1782–1787; Лагарп Ж. де. Всемирный путешествователь, или Познание Старого и Нового света, то есть описание всех по сие время известных земель в четырех частях света... 3-е изд. Т. 1–27. СПб., 1799–1804; О большой популярности этих книг см.: Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 47.

<sup>27</sup> Распространение в России сведений о народах тихоокеанских островов прослеживается в статье: Барышева Е.А. Формирование представлений о народах Южного моря в России (По материалам книжных и журнальных публикаций конца XVIII – начала XIX в.) // Румянцевские чтения. Ч. 2. М., 1996. С. 273–285.

<sup>28</sup> Наиболее известно четырехтомное сочинение И.И. Георги “Описание всех обитающих в Российском государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей...” (СПб., 1799).

<sup>29</sup> Еще в середине XVIII в. Ж.-Ж. Руссо призывал к изучению “не камней и растений, а людей и нравов” (Руссо Ж.-Ж. О природе неравенства. СПб., 1901. С. 139). О том, что этот призыв был актуален на протяжении долгого времени, говорит повторение его В.Г. Белинским почти через 90 лет в рецензии на книгу П.М. Строева о Париже: “Стены ничего не значат: важны только люди...” (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. VI. М., 1955. С. 58).

<sup>30</sup> Соколовский С.В. Образы Других в российской науке, политике, праве. М., 2001. С. 5.

<sup>31</sup> Путешествие актуализирует переживание границы между “Я” и “Другим”, тем самым активизируя сознание собственной идентичности. По меткому наблюдению В.Л. Каганского, “путешествие обостряет идентичность путешественника именно в силу мощной и разнообразной жизни с границами и в границах” (Каганский В.Л. Путешествия и границы // Культурное пространство путешествий. С. 9). Зависимость этнического самосознания от конкретной этнической ситуации, в частности, от степени интенсивности межэтнических контактов неоднократно отмечалась исследователями (см., напр.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 196).

<sup>32</sup> Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825–1853. М., 1982; Михайлова Л.Б. Взглядом просвещенного наблюдателя (“Россиянин в Англии” В.Ф. Малиновского) // Культурное пространство путешествий. С. 199–202; Губина М.В. Франция в восприятии русских военных: эволюция стереотипов (1814–1818 гг.) // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. I. М., 2000.

С. 136–147; *Достяян И.С.* Русская общественная мысль и балканские народы: от Радищева до декабристов. М., 1980; *Керимова М.М.* Указ. соч.; *Лаптева Л.П.* Русский путешественник о лужицких сербах начала XIX в. // Вопр. истории. 1986. № 1. С. 85–92; *Никулина М.В.* Первые научные путешествия в славянские земли и их роль в истории русского славяноведения (первая треть XIX века) // Из истории славяноведения в России: Тр. по русской и славянской филологии. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 573. Тарту, 1981. С. 75–95; *Оболенская С.В.* Германия глазами русских военных путешественников в 1813 г. // Одиссей. 1993. С. 70–83; *Потапова Г.Е.* Россия и Запад в книге Н.И. Гречи “Поездка во Францию, Германию и Швейцарию в 1817 г.” // Карамзинский сб. Ч. II. Восток и Запад в русской культуре. Ульяновск, 1998; *Сопленков С.В.* Российская общественная мысль первой половины XIX в. о Востоке. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1998; *Сорникова М.Я.* Еврейская тема в “Письмах русского путешественника” Н.М. Карамзина // Там же; *Тихонева-Пеуранен Т.* Восприятие русскими путешественниками Финляндии в первой половине XIX в. // Россия и Запад: диалог культур: Матер. второй междунар. конф. 28–30 сентября 1995 г. М., 1996.

<sup>33</sup> Однако есть и исключения. Например, *М.Я. Сорникова*, анализируя образ евреев в “Письмах русского путешественника” Н.М. Карамзина и указывая на то, что обязательным элементом этого образа было “злование” и нечистота, недоумевает: “Что так раздражило обожание сентиментального героя – загадка. Зная об обычной ритуальной чистоте жизни евреев, трудно сделать какие-либо предположения” (*Сорникова М.Я.* Указ. соч. С. 74). Очевидно, автор исходит из того, что *представление* Н.М. Карамзина о евреях должно полностью детерминироваться реальностью, адекватно отражать ее. То есть перед нами уже знакомая ситуация неразличения самой реальности и ее образа. Что же касается утверждения о еврейской нечистоплотности, то оно, как отмечают специалисты, является универсальным топосом антисемитского дискурса начиная с эпохи античности (*Лихачев В.А.* История антисемитизма: ненависть сквозь века. М., 2000. С. 7).

<sup>34</sup> *Комиссаров Б.Н.* Указ. соч.; *Slezkine Y.* Naturalists Versus Nations: Eighteenth-Century Russian Scholars Confront Ethnic Diversity // Representations. 1994. P. 170–195.

<sup>35</sup> *Slezkine Y.* Op. cit. P. 173.

<sup>36</sup> Данное противопоставление, конечно, не подразумевает отсутствия неотрефлектированных элементов в сознанииченого, изучение которых, однако, не входит в задачи статьи.

<sup>37</sup> *Степаненко Т.Г.* Этнопсихология: Учебник для студентов вузов по специальности “Психология”. М., 2003. С. 230–243.

<sup>38</sup> *Соколовский С.В.* Этнография как жанр... С. 138.

<sup>39</sup> Здесь и далее сноски на источники даются в тексте с указанием римской цифрой – тома или части сочинения, а арабской – страницы. При наличии нескольких сочинений у одного автора название сочинения приводится в скобках.

<sup>40</sup> См., напр.: *Люблинская А.Д.* Историческая мысль в Энциклопедии // История в Энциклопедии Дири и Д'Аламбера. Л., 1978. С. 252.

<sup>41</sup> Характерно, что сам Е.Е. Левенштерн не называет их татарами, а обозначает лишь как “людей в татарской или китайской одежде”. По-видимому, для него костюм не может служить достаточным основанием этнической идентификации этих людей. Для И.Ф. Круzenштерна же все очевидно: человек в татарской одежде есть татарин, и далее он везде именно так и называет этот народ (*Круzenштерн*, С. 201–202). Б.А. Липшиц указывает, что речь идет о гилязах (нивахах) (*Липшиц Б.А.* Указ. соч. С. 312).

<sup>42</sup> Сходная ситуация несовпадения костюма и этнической принадлежности встречается в записках Н.М. Клемента, где упоминается “Француз, хотя в турецком платье” (*Клемент Н.М.* Указ. соч. С. 277).

<sup>43</sup> Заметим, что в данных фрагментах слово “нация” имеет иной смысл, нежели в приведенных выше высказываниях Г.М. Мельникова. Здесь этот термин используется скорее в *этническом*, чем в “государственном” значении. См. также: *Броневский В.Б.* Записки морского офицера... Ч. I. С. 179; *Тургенев А.И.* Указ. соч. С. 5, 38; *Коростовец Н.* Указ. соч. С. 64; *Свинин П.П.* Указ. соч. Ч. I. С. 82. Ч. II. С. 216, 273.

<sup>44</sup> В связи с этим показательно, что А.И. Тургенев, находясь в Вене, в письме к отцу говорил о своей поездке как о путешествии “по землям большей частью славянским” (*Тургенев А.И.* Указ. соч. С. 20), хотя его путь пролегал по территории Саксонского курфюршества и Австрийской империи.

<sup>45</sup> См., напр., описание Республики 7 Ионических островов, населенной разными народами (*Панафинидин П.И.* Указ. соч. С. 38), Китая, где правящий слой принадлежит к иному народу, нежели остальное население (*Лисянский Ю.Ф.* Указ. соч. С. 248), Австрийской империи, на две трети состоящей из славян (*Тургенев А.И.* Указ. соч. С. 17), Венгрии, на территории которой, помимо венгров, живут еще русины, евреи, славяне (*Броневский В.Б.* Путешествие от Триеста... Т. I. С. 148–159).

<sup>46</sup> *Буганов А.В.* Национальное самосознание и народная память // Русские. М., 1997. С. 650 (сер. “Народы и культуры”).

## P.S. Kupriyanov. In Search of Ethnos: The Study of Early 19th-Century Russian Foreign Travel Accounts

The foreign travel accounts are examined by the author in the context of ethnic self-perception of the educated stratum of early 19th-century Russian society. The sources used in the study include diaries, notes, memoirs, and letters of Russian students, diplomats, army officers, and seafarers who traveled abroad in the beginning of the 19th-century. The analysis of travelers' ethnic views, the author argues, makes it possible to speak of the existence of two everyday ethnos models: “geographic” and “ethnic”.